

Я начала вести дневник в 11 лет и обращалась в нем к Манки — плюшевой мартышке, которой доверяла тогда все свои секреты. Обезьянку-жокея мне подарил мой дядя — это был приз, выигранный им в лотерею на сельской ярмарке. Мы с Манки не расставались никогда: он делил со мной тоску интерната и больницы койки, мою жизнь с Джоном, Сержем и Жаком; был свидетелем всех моих радостей и печалей. Он обладал волшебной властью: я ни разу не садилась без него в самолет, не ложилась без него в больницу. Папа как-то сказал: «Не исключаю, что в раю нас с распростертыми объятиями встретит Манки!» Кейт, Шарлотта и Лу хранили как святыню его особые одежды для путешествий. Серж до самой смерти носил у себя в дипломате его джинсы... Когда Сержа хоронили, я положила рядом с ним Манки — чтобы моя обезьянка защищала его, словно фараона, в загробной жизни.

Перечитывая свои дневники, я пришла к очевидному выводу: люди не меняются. Какой я была в 12 лет, такой и осталась. Не доверчивость, ревность, желание нравиться... Сегодня я лучше понимаю, почему все мои романы длились недолго. Возможно,

читатель удивится, как удивлена я сама, что я мало говорю о своей профессиональной жизни, почти не упоминаю о фильмах, спектаклях и даже песнях. О тех, кто умер, я вспоминаю месяцы спустя; как и о радостных событиях, особенно важных... их надо было пережить. Счастье распознаешь только задним числом. В дневниках всегда полно несправедливостей. Ты выкладываешь карты на стол, жалуешься, излагаешь свою версию того, что было... Так вот, здесь именно моя версия всего, что было. Я ничего не приглаживала и, поверьте, предпочла бы, чтобы мои поступки выглядели более зрелыми и мудрыми... Я удалила те места, в которых могло содержаться что-то обидное для других людей, но таких мест совсем не много. Как мне кажется, я до сих пор не избавилась от инфантильности и некоторого занудства... Есть провалы в несколько лет, часть блокнотов пропала, кого-то уже нет... Сохранившиеся записи и фотографии образуют полуслучайный набор — в зависимости от того, был у меня с собой в тот или иной день того или иного года фотоаппарат, не стерлась ли магнитофонная кассета. Да и память наша носит селективный характер. Одним словом, мне пришлось заниматься сортировкой.

Я решила написать что-то вроде автобиографии, когда перечитывала эти дневники, заодно вспоминая всякие истории из своей жизни и то, как их комментировали окружающие; я поговорила с людьми, которые играли в моей жизни большую роль, но о которых не говорится в дневниках. В общем, мы сделали некий гибрид — по-моему, до нас никто такого не делал — из выдержек из тогдашних дневников и сегодняшних воспоминаний.

Мне хотелось опубликовать практически все, а живу я давно, поэтому у меня получилось два тома. Первый охватывает события от интерната до расставания с Сержем; второй — от рождения Лу до смерти моей дочери Кейт. В тот день я бросила вести дневник. 11 декабря 2013 года я в последний раз побывала в Безансоне. Для меня началась эпоха параллельной жизни. «Ты была рядом, но тебя как будто не было», — сказал мне Марлоу,

сын Лу. Так оно и было. Мне стало не о чем говорить, я словно потеряла право на собственное мнение. С уходом Кейт мой дневник закончился.

Я родилась 14 декабря 1946 года, семи с половиной месяцев — намного раньше срока — в лондонской клинике. Меня и одного новорожденного мальчика уложили в коробку, выстланную влажной тканью, и поставили коробку на батарею. Никаких инкубаторов тогда не существовало. Мама, по ее словам, начала меня терять сразу после завтрака. Ей сделали кесарево сечение, располосовав живот сверху донизу. Она никогда не жаловалась и говорила, что это было избавление — в отличие от кошмара, пережитого годом раньше, в конце войны, когда она дома рожала моего брата Эндрю.

Мой отец Дэвид Биркин был сыном фабриканта кружев, владельца предприятия «Биркин Лейс» в Ноттингеме. Его мать, урожденная Рассел, происходила из обедневшей аристократии. Так что мой папа, протестантский пастор, был внуком лорда. После неудачной операции гайморовой пазухи у него начались осложнения; стало двоиться в глазах. Он страдал от легочных кровотечений и постоянной слабости. Когда ему было 18 лет, его тетка молилась Богу, чтобы он избавил его от этой голгофы и забрал к себе. Он учился в Кембридже и мечтал стать хирургом — какая ирония судьбы! — но ему пришлось перенести еще несколько таких же неудачных операций, после чего его отправили восстанавливаться в Швейцарию. После объявления войны он вернулся в Англию и упорно пытался поступить в армию, но его не брали по здоровью. Его старший брат был военным, второй брат — блестящим пилотом, а ему, младшему, в конце концов удалось записаться в добровольческий резерв военно-морского флота (*Royal Naval Volunteer Reserve*). В течение года он проходил обычную подготовку, а затем — ускоренный «шпионский» курс в качестве простого матроса на тренировочных кораблях,

которые никогда не спускали на воду. Прежде он ни разу не бывал ни на одном морском судне, но, обладая математическим умом, быстро освоился. Вскоре он узнал, что есть возможность попасть на один из двух кораблей, курсировавших между Францией и Англией. Вместе со своим другом Питером Уильямсом¹, который управлял вторым судном в связке, они выполняли ночные задания, совершая рейсы из Дартмута до бретонских берегов, от деревни Абер-Врак до коммуны Пемполь. Он переправлял в Англию бойцов «Свободной Франции», разведчиков, английских и канадских летчиков, которых прятали у себя участники Сопротивления. Каждый месяц приходилось ждать, когда настанет безлунная ночь, и только тогда в полной темноте выходить в беспокойное море. Стоя в крошечной капитанской рубке, он боролся с морской болезнью. Судно мотало, со стола падали карты, включать прожектор и гидролокатор было нельзя. Снова и снова пробираясь у немцев под носом, он ни разу не заблудился.

Все два военных года отец скрывал от сослуживцев свои кровотечения. Во время боевых заданий он всегда просил кого-нибудь быть с ним рядом — боялся, что, попав в плен, под действием обезболивающих начнет болтать и выдаст какой-нибудь важный секрет. Так он и воевал — таясь ото всех и ставя под угрозу судьбу своего соединения и судьбы французских партизан, которые рассчитывали на помощь британцев. В конце войны мать, дозвонившись ему из телефонной будки, сказала: «Мне кажется, я знаю, чем ты занимаешься...» Какая-то женщина, с которой она познакомилась на вечеринке, поделилась с ней новостями о сыне, вернувшемся из Франции морем. Отец на это буркнул, что этой «курице» надо заткнуться!

После войны он больше ни разу не ступил ногой на палубу ни одного корабля. Мы узнали о его подвигах гораздо позже,

¹ На эти задания всегда выходило по два корабля. Впоследствии Питер Уильямс стал крестным отцом моего брата Эндрю. – *Здесь и далее, если не оговорено особо, – прим. автора.*

примерно в 1967 году — до этого он ничего нам не рассказывал, соблюдая закон о неразглашении секретной информации (*Official Secrets Act*). Кстати, его наградили крестом «За выдающиеся заслуги» (*Distinguished Service Cross*), который ему вручил король Англии. Он навсегда сохранил восхищение перед французами, в том числе бретонцами, особенно перед Джо Менги — руководителем подпольной сети Сопротивления, который до самой смерти не разрешал назвать улицу своим именем, — и перед Танги, автомехаником из Ланнилиса, который прятал у себя на чердаке английских летчиков, а потом сажал их в кузов грузовика, забрасывал сухими водорослями, вез на побережье и, дождавшись отлива, переправлял на небольшой островок; когда начинался прилив, за ними приходил на своем судне мой отец. Однажды в рождественскую ночь папа приплыл к островку, но летчиков на нем не было. Отец с командой поспешили, пока не рассвело, вернуться в Дартмут. С горя, что миссия не удалась, они всем экипажем напились. Но тут пришла радиogramма: «Жан-Пьер сдал сорочки в стирку», или «Ландыши зацвели», или еще что-нибудь в том же роде, и им пришлось в ту же ночь сделать еще один рейс; на сей раз они подобрали летчиков и доставили их на другой берег целыми и невредимыми. Между прочим, именно мой папа переправлял Франсуа Миттерана из Дартмута в Бег-ан-Фри... После смерти отца мы с мамой объездили все бретонское побережье и во всех местах его швартовок рассыпали немного его праха. Везде нас встречали бывшие участники Сопротивления. На пляже Бонапарта, в Плуа, нас ждал Джо Менги. Он взял горсть моего папы, бросил в море и сказал: «Прощай, Дэвид».

Мать моей матери была актрисой. Она вышла замуж за моего деда, тоже актера. Он происходил из скромной семьи, жившей в Норфолке, и сменил имя Гэмбл на Кэмпбелл, чтобы получить роль шотландца. Вместе с бабушкой они сочиняли мелодрамы и открыли собственный театр в Грентеме, который потом превратили в кинотеатр — один из первых на севере Англии. Моя

мать, Джуди, проводила там целые дни. Она говорила, что своим культурным кругозором обязана в основном фильмам, которые смотрела, сидя на коленях у билетерши. В тот же самый кинотеатр иногда приходила еще одна маленькая девочка — Маргарет Тэтчер.

Мать уехала в Лондон, чтобы стать актрисой. Она была потрясающе красивой. Играла главные роли в театрах с классическим репертуаром и снялась в нескольких фильмах, в том числе в одном с участием Дэвида Нивена и в картине «Зеленый значит опасность», но главной для нее всегда оставалась сцена. Эрик Машвиц написал для нее песню «Соловьиная песня на Беркли-сквер», которую она своим надтреснутым голосом исполняла в лондонском театре под бомбежками. Спускаться в метро она наотрез отказывалась, потому что боялась подземки больше налетов. Очевидцы рассказывали мне, какая она была изящная и с каким самообладанием держалась. Каждый раз, когда то слева, то справа от театра раздавалось очередное «бабах!», публика вскакивала с мест и аплодировала ей стоя. Однажды вечером в «Савой» пришел ужинать знаменитый драматург Ноэл Кауард. Он узнал среди посетителей ресторана мою мать, пригласил ее за свой столик и попросил спеть «Соловья» для таких же смельчаков, как они оба, не желавших прятаться в бомбоубежище. Она спела. Впоследствии она стала его музой, его *leading lady* — исполнительницей главных ролей во всех его комедиях. Они ездили со спектаклями по всей Англии, поднимая моральный дух соотечественников. В дом, где она жила в Лондоне, однажды тоже угодила бомба. «Что из вещей тебе удалось спасти?» — как-то спросила я ее. Она задумалась и ответила: «Духи «Шокинг» в розовом флаконе от Скиапарелли. Если у тебя больше ничего нет, остается цепляться за излишества». Годы спустя, уезжая с одним рюкзаком в Сараево, я взяла с собой губную помаду от Герлен, пару флакончиков духов и шелковое белье для школьниц. Мама была права: да здравствуют излишества!

В Лондоне мама жила в одной квартире еще с двумя актрисами — Сарой Черчилль¹ и Пенелопой Рид, она же Пемпи, кузина моего отца. Именно она познакомила моих родителей. Моей матери она говорила: «Если бы ты знала моего двоюродного брата Дэвида! Он просто чудо!» Отцу она говорила: «Если бы ты знал мою подружку Джуди! Самая восхитительная на свете девушка!» Папа с мамой поженились в 1944 году, и их свадьбу показали по телевидению в новостях, потому что моя мать была знаменитостью. Выглядели они чрезвычайно изысканно. Папа — с повязкой на одном глазу, мама — настоящая кинозвезда, в платье от Виктора Стибеля, моего крестного отца и самого известного кутюрье тех лет; подружками невесты были Сара Черчилль, в будущем — моя крестная, и Пемпи. Родственники отца восприняли новость о его женитьбе с восторгом. У бабушки было три сына и муж, помешанный на войнах — Первой мировой, Второй мировой и прочих, включая те, на которые его никто не призывал. Поэтому она была счастлива, что в доме наконец-то появится девушка... Зато для маминых родителей этот брак стал катастрофой: они надеялись, что их дочь сделает звездную театральную карьеру! Правда, мой отец обещал, что ни за что не станет мешать жене по-прежнему играть в театре... Promises, promises!²

Через год родился Эндрю; еще через год — я. Четыре года спустя родилась моя младшая сестра Линда, и папа перевез всех нас на ферму, о которой давно мечтал. Это и в самом деле оказалось райское местечко — для нас, детей, но, к сожалению,

¹ Дочь Уинстона Черчилля, актриса и талантливая поэтесса, чья жизнь закончилась довольно-таки трагически. Мы с папой ходили к дому Черчилля в его последний день рождения и, стоя у него под окнами, приветствовали его; позже, в 1965 году, мы с Эндрю влились в толпу, провожавшую его в последний путь; чтобы лучше разглядеть, что происходит впереди, мы забрались на мусорный бак. Больше всего меня потрясло и тронуло, что подъемные краны один за другим опускали свои стрелы, когда мимо проплывала по Темзе баржа с гробом Черчилля.

² Обещания, обещания (англ.). – Прим. пер.

каждый вечер ездить оттуда в Лондон на спектакль было слишком далеко. Потом мы жили на другой ферме, в Хенли-он-Темз, а потом у папы ухудшилось здоровье. Ему пришлось перенести несколько операций. Родители поняли, что пора перебираться ближе к Лондону. Возможно, отец согласился на это, чтобы мама могла вернуться на сцену. Они купили в Челси большой викторианский дом — Чейн-Гарденс. Если я ничего не путаю, Эндрю отправили в интернат лет в шесть, как большинство мальчиков из хороших английских семей. Поначалу на выходные его забирала домой, но, поскольку бензин тогда был по карточкам, а мама пришла к выводу — несколько поспешному, — что ему там нравится, то вскоре его перевели на полный пансион; там же он окончил начальную школу, а в 13 лет перешел в Хэрроу — баснословно дорогую частную школу, которую посещали все мальчики из семей с папиной стороны перед поступлением в Кембридж.

Мы с Линдой ходили в дневную школу — *day school* — в Кенсингтоне. Каждая в свою. Моя школа была странной. Наша директриса, мисс Айронсайд, хвалилась, что во время войны принимала у себя двух премьер-министров и одного изменника родины. Но там же, в школе, я познакомилась с двумя учительницами, которые оказали огромное влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Их звали мисс Стейнс и мисс Стори, и они преподавали у нас историю, английскую литературу и английский язык. Они возили нас в Стратфорд-на-Эйвоне, смотреть «Святую Иоанну» Бернарда Шоу, или водили в Британский музей, любоваться на бриллианты (чтобы мы понимали, что такое *step cut diamond*, то есть разбирались в огранке — на случай, если кто-то преподнесет нам в подарок кольцо с бриллиантом). Мы вместе с ними восхищались красотой украшений королевы Англии Елизаветы I и рыдали над драмой шекспировского Ричарда II... Но это уже совсем другая история.

1957

30 апреля

Дорогой Манки!

Сегодня утром весь дом стоял на ушах. Эндрю надо было возвращаться в интернат, а ему не собрали вещи. Сначала их сложили в чемодан, но выяснилось, что никто не знает, где его белая сорочка, потом вспомнили про *boiler suit*¹, про два розовых галстука и четыре носовых платка и так далее и тому подобное. Через какое-то время нашлось все, кроме подтяжек. Чемодан надо было срочно отправлять, и мы с Эндрю на автобусе поехали в туристическое агентство Томаса Кука. Мы вышли не на той остановке: *Lower*² что-то там стрит вместо *Higher*³ что-то там стрит и до самой *Lower* что-то там стрит нам пришлось бы топтать пешком. Я говорю «что-то там стрит» потому, что не помню названия улицы; к счастью, у меня было с собой три с половиной фунта для Эндрю и полтора фунта для себя. Наконец мы добрались до агентства, заполнили квитанцию и стали ждать автобуса. Потом Эндрю уехал. Не могу сказать, что я испытала облегчение. Я боялась, что он опоздает на

¹ Комбинезон. Такой в конце жизни носил Черчилль.

² Нижняя (англ.). – Прим. пер.

³ Верхняя (англ.). – Прим. пер.

поезд. Когда я пишу, что у меня оказалось с собой три с чем-то фунта «к счастью», это чистая правда, потому что нам не пришлось идти пешком от *Higher* что-то там стрит до *Lower* что-то там стрит. Я помахала Эндрю на прощание и вернулась домой. Больше ничего писать не буду, потому что больше ничего интересного не было.

30 октября

В среду мы с Линдой придумали новую игру. Мы играли, как будто мы мальчишки и живем в интернате. Странное совпадение — в тот же вечер мама сказала, что меня, может быть, тоже отправят в интернат. Вроде бы они собирались отправить меня в интернат, который называется «Леди Иден'с», или в «Нью-Форест», или куда-то в Даунс, или еще в какой-то, на побережье, у меня там учится подружка. Потом я смотрела по телевизору передачу про свиней.

* * *

В конце концов родители отправили нас с младшей сестрой Линдой в школу для девочек — *school for girls* — под названием «Аппер-Чайн», расположенную на острове Уайт. Я сама настояла на отъезде, потому что все мои школьные подружки уже учились в интернате. Мне было 12 лет, и я вся была в предвкушении новой жизни. Линда и другие младшие девочки жили в основном здании; там же у нас проходили уроки. Нас поселили в отдельных домиках — *houses*, где распоряжались воспитательница и ее помощница. Нашим домиком командовали воспитательница Вандербан и мисс Томас. Еще у нас были старосты. Нашу старосту — *head girl* — звали достопочтенная Джейн Уэлплей. Старше меня на несколько лет, она носила длинную толстую косу и была моим кумиром. Ни за что на свете я не хотела бы ее огорчить.

Если у меня накапливалось слишком много *late marks* — замечаний об опоздании, — я больше всего боялась услышать от нее: «Девяносто девять, вы очень меня разочаровываете». 99 — это был мой номер. Номер Линды был 177. Наш цвет был зеленый. Каждый дом носил имя британского исследователя. Я жила в «Скотте», Линда — кажется, в «Роудсе». В каждом доме было по несколько спален на восемь человек.

Когда звонил утренний колокол, надо было быстро натянуть школьную форму — не очень красивую, но определенного фасона. Заметив, что на мне не темно-, а светло-коричневые туфли, воспитательница строго сказала: «Эти туфли неправильного цвета». Потом из нашего дома надо было бегом бежать в основное здание, по пути проскочив через мостик над речушкой — она называлась Чайн. Опоздание каралось замечанием — *late mark*. Накопив три таких замечания, ты получала *mark of disobedience* — нечто вроде предупреждения, отметки за плохое поведение. После нескольких предупреждений ученицу исключали из школы. Меня не покидало ощущение, что я несу всю полноту ответственности за порядок в «Скотте» и во всей школе «Аппер-Чайн» и что своими глупыми поступками не только подвожу мою обожаемую Джейн Уэлплей, но и ставлю под угрозу существование Англии.

Линда была маленькой, а малышам учителя позволяли многое, например лакомиться клубникой, в отличие от нас — *the bulk years*¹. Нас, рожденных в первый послевоенный год, было слишком много; мы были почти подростки — нескладные, лишенные умильной детской прелести. Мне кажется, я провела в интернате три года, хотя моя мать утверждала, что всего два. К счастью, однажды родители задали мне немного туманный вопрос: «А ты не хотела бы уйти из интерната?» Мать говорила, что я ответила: «Если я останусь там еще на один семестр, то умру». Меня забрали, и я с радостью вернулась в свою любимую маленькую школу

¹ Зд.: урожайные годы (англ.).